

## ТАК ПТИЦЫ БОЖЬИ ПОЮТ...

Литература полна самых разных и противоречивых целеуказаний и знаков судьбы. Для меня ясно одно. К знамениям, посылаемым свыше, стоит прислушиваться. И следовать прекрасному, ужасному ли, но своему -гешталту. Зов свыше не бывает случайным.

Так автор двух книг стихов, с недурными отзывами, Татьяна Грибанова вдруг почти оставляет поэзию, вопреки упрекам и предостережениям друзей, и обращается к «низкому» жанру – прозе, к одной, другой вещице, и вот уже целиком погружается в стихию рассказа, пишет, верно, ночами, напролет, безотрывно и захлеб...

Что же на выходе?

«На веранде пахло оттопленным вишневым листом. Готовились варить «царское» варенье. Усевшись на маленькую скамеечку, я с утра вычищала шпилькой крыжовник.» («Рой»)

«Окошко растворяется и рисованные красногрудые петушки на голубых ставнях разлетаются еще дальше в стороны. Из-за тюлевой занавески слышится: «Настёна! Зорьку не прогляди!» И оттуда же:

«Наконец, хозяйки разбирают кормилиц, циркают о подойники вечеришником. Пыль опадает на росные подорожники, деревня угоманивается. Но запах молока, запах разгоряченного стада еще долго плывет по закоулкам.

Бабуля процеживает удой, сдувает пену. Ставит на стол две кружки: перед Настенной красненькую в горошек, а перед Васей – синенькую с золотой пчёлкой.

- Помочники мои безотказные! Пейте на здоровьице. Нынче молочко душицей пахивает. Видать, Петро в Ярочкиной балке пас. Там травки этой видимо-невидимо. От сорока болестей. Пейте, силушки набирайтесь».

Вот такая и проза у Татьяны Грибановой, парная еще, пахнувшая молоком.

Травами и туманами. Свежая, душистая.

Вся книга, написанная словно на едином выдохе... Писалось, как выпевалось. Так птицы божьи поют по садам.

Мне бы хотелось обратить внимание именно на эту особенность письма Татьяны Грибановой, его безыскусность. И при безыскусности – безусловную красоту.

То, что кажется простым, вообще с трудом поддается нашей реакции, то есть анализу и толкованию.

Боюсь, что и сейчас не смогу дать сколь-нибудь вразумительного объяснения феномену языка Татьяны Грибановой. Меж тем как, по моему разумению (вообще и в данном случае в частности), именно по нему

пролегает дискурс, тот срез, через который нам чудится (или, может быть, таков он и есть) феномен Бога и образ целого мира.

Так вот. Автор не ищет слов, они сами его находят. Привычные и обыденные, принятые в быту. Но это устоявшийся быт деревенской жизни. И что же может быть проще, роднее и слаще его? Здесь каждая вещь покоится на своем излюбленном месте, в избе, на подворье (стоит и цветет в поле, прячется, темнеет в лесу). И каждая знакома до боли, на ощупь, до истертости и последней щербинки, вплоть до материала, из коего она изготовлена, вплоть до плотности его и рельефа, таких свойств, как запах, тепло... И соответственно сам народ расстарался для напевного, здесь убойного, там калиброванного, тут объемного, здесь неизъяснимого и полного тайны и прелести поименования и соответствующих единственных на земле, неповторимых определений. Так что слова эти самые округлые, самые красные и ядреные. Так народ определил их и так язык выточил их. И здесь чтобы красно и внятно говорить о мире, ничего и не нужно, как только называть вещи – своими, данными им от века именами (вот собственно чем и занимается автор настоящей книги), как только владеть данным тебе от природы языком, не предавая его забвению.

Вообще вся наша жизнь (как она может быть наиболее верно, точно и полно выражена) – в *родном* для нас словаре. Все бытие.

Оттого оно так полно в книге.

Оттого так тепло и уютно здесь среди этих божниц, махоток, кринок, кубанов, кубарей, липовы прялок, пеньковых вожжей, грушевых трубочек, ореховых костыльков. Это наш русский быт. Это наш русский мир. В нем яблонька – медовая, ландыши в тени дульки (груши) – белоснежные, «вербочка – свечоная», «веснушчатые - зонтики укропа», о дно эмалированной кастрюльки звенит «ядренная рябая фасоль», «сальце – морозовое» (тут и розовость, и мороз), «самосадик с донником», «лето порскает рыжей куропаткой», а «пригорок рыжий от зверобоя», здесь слева «Косёнихин шиповник», справа «кипрейник-погорелец», посередке «зарозовело, вспенилось гречишное поле».

Здесь язык, впитанный с тем же молоком (матери). Только и всего. Нужно было не изменить ему. Здесь жизнь, которая творилась рядом, на удивленных изумленных глазах. Просто. Нужно было не пройти мимо нее. Здесь красота, разлитая в воздухе, нельзя же было не дышать ею. И затем выдыхать из себя. Здесь деревня. Наша. Среднерусская. Какой ее увидела девочка, подросток, далее городская образованная женщина, навещающая в селе каждую неделю любимых, уже предстоящих Богу, родителей (чаша будет испита до дна). Вот она, тайна «безыскусной» (да с дурманом русского языка) прозы. Да русской, как она есть, жизни. Со счастьем ее, и с ее дурманом, и с ее разором. Три поколения много вместили в себя.

Мозаика, составленная из первых проб пера, из миниатюр - зарисовок, заметок, былей, и далее уже из полновесных и полноценных рассказов, по ходу своего развертывания сложилась в целостную картину, в своеобразную повесть, или, если хотите, оду (Виктор Астафьев) русской деревне, -

«Июньским вечером», «От рождества до Покрова», «Пчелиный батька»; хотите, небольшую и все-таки энциклопедию (Беловский «Лад») уклада деревенской жизни – «Рой», «Тришка», «Квас»; хотите, плач по нашей деревне и русской земле – «Заноза», «На хуторе Дальнем».

Может, это авторская непосредственность, но, скорее, сознательный акт. Как бы то ни было книга обязана автору *сквозными* героями, которые являясь в одном рассказе в качестве главных, в другом выступают в роли второстепенных, вовлекая в свою орбиту новые лица, в третьем на смену им приходят их дети и внуки, и т.д. Так создается набросок своеобразной саги...

На это же работает и единство времени и пространства. Рассказы - из одного, единственного, так сказать, угла России. Если не медвежьего, не разбойничьего, то определенно с норовом. Не дремучего, но шибяющего русским духом, на крутом замесе. И край не то что бы непролазный, как, скажем, та же Мещера, меж Клязьмою и Москвой, - посветлее (ибо Орловский), но тоже таинственный, и тоже – из самой середки державы, - еще остались, еще не перевелись такие углы, как ни странно, в самом сердце России...

Это где-то за Гнездилово. Между Закамнями и Копытцем. Меж Гнилым болотом и болотом Моховым. Через Леший брод, через Савин и Ярочкин лог, вдоль ручья Желтого, через Филькин овраг, вот он уже Игинский пруд да над ним Мишкин бугор с глазастой дозорной избою, откуда, если встать на заре, насквозь просматриваются окрестности. Стоят как на ладони. Так Фолкнер по толике собирал и составлял свою эпическую и грандиозную географию. Так наш автор уже собирает и обустроивает русский мир. Но здесь топонимика – составная часть и продолжение собственно народного словотворчества. Народной приметливости. Как имена давались народом, так отозвались в книге. Каждую точку легко найти и определить на месте, - здесь ничего не придумано, можно сверяться с военными картами. И снова ничего лишнего, нарочитого и литературного. Как оно сложилось, так есть. И опять же и вместе. Так просто.

Но вот, пожалуй, что в этом самое дивное. Поучительное и бесценное. Что отдает сугубо нашим национальным менталитетом, или строем души, нашей склонностью к созерцательности, нашей русской предметной и неизбывной тягою к красоте, обусловленными мессианской жаждой всемирной гармонии и равновесия. Эти пространства, как они даны в книге, они в точности так же *обжиты* (вообще мужиком и в частности нашим автором), как у иных хозяев подворье. Натоптаны и исхожены. И как в избе каждая вещь, так здесь каждый бугор, каждая яма и даже выемка наперечет. Каждый карасиный пруд. Каждое урочище, каждый лог с зарослями куманики. Каждая дичка, вроде лесковки. Или лещинки. Каждая обласкана взглядом и обихожена. Для иного глаза здесь всякое деревце, что в избе иконка. Это почти избыной быт. Только под небом. Только обширный. Вот так было у наших предков. И даже еще и до сих пор оно может быть так. Здесь, как она была и как есть - наша жизнь. Но не в узких и тяжких

поселеньях городских бетонных гробниц. Городской быт – это такое завуалированное и цивилизованное погребение, он как вживе смерть. Книга как дверь – в ясный, в солнечный, в Божий мир. Мы забываем, мы почти забыли эту русскую даль. Эту ширь. Этот воздух. Этот свет (благодатный). С ним и в нем – наше возрождение.

Конечно, все не так, чтобы вовсе уж просто Тут ведь вот какая заставка. Только два соображения.

Да, есть такие утилитарные, или высокие вещи, которые и вправду - на подворье, в избе - всегда на виду. Как Божница в Красном углу... Но есть и другие, они лежат до срока в подвалах, в загашниках, по овинам и в омшаниках, и обнаруживают себя только изредка, иные вообще только раз в году, но зато с особой силой и праздничностью - в соответствии с *солнечным круговоротом* - в сенокос, при заборе меда, во время жатвы и сбора урожая, по престольным праздникам. И вот тут уж вступает в силу категория времени, категория вечности. Она в крови у рассказчика. Это не аллегория (смотрите рассказ «От рождества до Покрова»). Отсюда же (от чувствования, от дыхания вечности) начинается философия и метафизика (Евгений Носов).

И Мишкин бугор с избою в деревушке Игино, от которого в книге все пошло, разбежалось и поехало – это ж не просто бугор, это пуп и центр, это ось, вокруг которой вращается собственная, под синим небом, теперь открывшаяся и нам Вселенная. Книга-то с космическим замахом.

Как бы то ни было, но именно здесь, (где все просто) под открытым небом, через книгу для меня яснее открылся категорический императив Канта, философа, воскликнувшего со слезами на глазах: «Две вещи наполняют душу все новым и нарастающим удивлением и благоговением... - звездное небо надо мной и моральный закон во мне».

Анатолий Загородний, лауреат  
премии имени Бунина

**//Простор.- 2012. - № 8.**



